

Николай Лесков

Колыванский муж



Николай Лесков
Колыванский муж

«Public Domain»

1888

Лесков Н. С.

Кольванский муж / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1888

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	7
Глава третья	9
Глава четвертая	11
Глава пятая	12
Глава шестая	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Николай Лесков

Колыванский муж

(Из остзейских наблюдений)

*Пошел по канун
И сам потонул.
Русск. пословица*

Глава первая

Из городов балтийского побережья я жил четыре сезона в Ревеле, четыре в окрестностях Риги и три в Аренсбурге, на острове Эзеле. В одну из моих побывок в Ревеле, – помнится, в первый год, когда там губернаторствовал М. Н. Галкин-Врасский, – я нанял себе домик в аллее «Под каштанами». Это в самом Екатеринентале, близко парка, близко купален, близко «салона» и недалеко от дома губернатора, к которому я тогда был вхож.

На дворе у моих дачных хозяев стояли три домика – все небольшие, деревянные, выкрашенные серенькою краскою и очень чисто содержаные. В домике, выходящем на улицу, жила сестра бывшего петербургского генерал-губернатора, князя Суворова, – престарелая княгиня Горчакова, а двухэтажный домик, выходящий одною стороною на двор, а другою – в сад, был занят двумя семействами: бельэтаж принадлежал мне, а нижний этаж, еще до моего приезда, был сдан другим жильцам, имени которых мне не называли, а сказали просто:

– Тут живут немки.

Все мы были жильцы тихие и, что называется, «обстоятельные». Важнее всех между нами была, разумеется, княгиня Варвара Аркадьевна Горчакова, влиятельное значение которой было, может быть, даже немножко преувеличено. О ней говорили, будто она «может сделать все через брата». Она, кажется, знала, что о ней так говорят, и не тяготилась этим. Впрочем, для некоторых она что-то и делала. Постоянное занятие ее состояло в том, что она принимала визиты знатных соотечественников и молилась Богу в русском соборе. Там тогда дьяконствовал нынешний настоятель русской церкви в Вене, о. Николаевский, который отличался изяществом в священнослужении и почитался национальным борцом и «истинно русским человеком», так как он корреспондировал в московскую газету покойного Аксакова.

У княгини Горчаковой можно было встретить всю местную и наездную знать, начиная с М. Н. Галкина и Ланских до вице-губернатора Поливанова, которого не знали, на какое место ставить в числе «истинно русских людей». Княгиня также принимала, разумеется, и духовенство, особенно священника Феодора Знаменского и диакона Николаевского. В «фамилиях» у духовенства княгиня имела крестников и фаворитов, которым она понемножку «благодетельствовала» – впрочем, только «малыми» и «средними» дарами. До настоящих, «больших», она не доходила и имела, кажется, на то достаточные причины. Вообще же среди всего, что было в тот год знатного в Ревеле, княгиня Варвара Аркадьевна имела самое первое и почетное положение, и ее серенький домик ежедневно посещался как немецкими баронами, имевшими основание особенно любить и уважать ее брата, так и всеми более или менее достопримечательными «истинно русскими людьми».

Все здесь наперебой старались быть искательнее один другого, но отнюдь не все знали, на что им это годится и вообще может ли это хоть на что-нибудь годиться.

И дом, и круг были прелюбопытные и обещали много интереса.

Я большую часть своего времени проводил за столом у окна, выходящего в сад, которым, по условиям найма, имели равное право пользоваться жильцы верхнего и нижнего этажей, то есть мои семейные и занимавшие нижний этаж «немки». Но немки, нанявшие квартиру несколько раньше меня, не хотели признавать нашего права на совместное пользование садом; они всё спорили с хозяйкою и утверждали, что та им будто бы об этом ни слова не сказала и что это не могло быть иначе, потому что они ни за что бы не согласились жить на таких условиях, чтобы их дети должны были играть в одном саду вместе с русскими детьми.

Спор возгорелся в первый же день нашего прибытия в Ревель, как только дети сошли в сад. Я узнал об этом сначала через донесение прислуги, для которой хозяйские контры на самых первых порах при занятии дачи представляли много захватывающего интереса, а потом я сам услышал распрю в фазе ее наивысшего развития, когда спор был перенесен из комнат под открытое небо. Это было в полдень. В сад вышли три немки: дама высокая, стройная и довольно еще красивая, с седыми буклями; дама молодая и весьма красивая, одного типа и сильно схожая с первою, и третья – наша хозяйка, онемеченная эстонка, громко отстаивавшая права моего семейства на пользование садом.

Все были в большом волнении – особенно хозяйка и старшая из двух «нижних дам», как их называла моя прислуга.

Хозяйка возвышенным голосом говорила:

– Я вас предупреждала... я говорила, что наверху будут жильцы, и сад всем вместе.

А старшая дама на все кротко отвечала: «Nein!»¹ и встряхивала буклями и краснела. Младшая дама трогала обеих этих за руки и упрашивала их «не разбудить малютку».

Сама же эта дама держала за руки двух хорошо одетых мальчиков – одного лет пяти и другого лет трех. Оба они не спали. Значит, кроме этих двух детей, было еще третье, которое спало. Может быть, это слабое и больное дитя. Бедная мать так за него беспокоится.

Мне стало жаль ее, и, чтобы положить конец тяжелой сцене, я решил отказаться от сада и кликнул домой своих племянников.

Дети вышли, за ними удалилась хозяйка, и садик остался в обладании двух немок. Они успокоились, вышли и повесили на дверце садовой решетки замок.

Хозяйка при встрече со мною жаловалась на возложение замка, называла это «дерзостью» и советовала мне где-то «требовать свои права». Прислуга совершенно напрасно прозвала обеих дам «язвительными немками».

Я не поддавался этому злему внушению и находил в обеих дамах много симпатичного. Я на них не жаловался, оставался вежлив, спокоен и не предъявлял более на сад никаких требований. Садик оставался постоянно запертым, но мы от этого не чувствовали ни малейшего лишения, так как деревья своими зелеными вершинами прямо лезли в окна, а роскошный екатеринентальский парк начинался сейчас же у нашего домика.

Немки выжили нас из садика не по надобности, а как будто больше по какому-то принципу. Впрочем, он был им нужнее, чем нам. Они почти постоянно были в саду обе и с двумя детьми и непременно запирались на замок. Это им было не совсем ловко делать – надо было перевешиваться за решетку и вдевать замок в пробой с наружной стороны, но они все это выполняли тщательно и аккуратно. Я думал, что они опасаются, как бы мы не ворвались в садик насильно, и тогда им придется нас выбивать вон. При этом им, вероятно, представлялась война, а судьбы всякой войны неразгаданны, и потому лучше запереться и держаться в своем укреплении.

¹ Нет! (нем.).

Глава вторая

Так это и шло. Победа была за немками, и никто не покушался у них ее оспаривать. Дети наши были совершенно равнодушны к маленькому домашнему садик у ввиду свободы и простора, которые открывал им берег моря, и только кухарка с горничною немножко дулись, так как они рассчитывали на даче пить кофе в «присаднике»; но когда это не удалось, я позаботился успокоить их претензию предоставлением им других выгод, и дело уладилось. При этом же обе эти девушки отличались столь добрыми и незлопамятными сердцами, что удовлетворялись возможностью пить свой кофе у растворенного окна и не порывались в садик, а я был даже доволен, что немки никого не пускали в сад, где благодаря этому была постоянная тишина, представлявшая значительные удобства для моих литературных занятий.

Вставая из-за своего рабочего стола и подходя к окну, чтобы покурить папироску, я всегда видел двух этих дам, всегда с работою в руках, и около них двух изящно одетых мальчиков, которых звали «Фридэ» и «Воля». Мальчики играли и пели «Anku dranku dri-li-dru, seter faber fiber-fu». Мне это нравилось. Вскоре появился и третий, только недавно еще увидавший свет малютка. Его вывозили в хорошую пору дня в крытой колясочке.

Обе женщины жили, по-видимому, в большой дружбе и в таком полном согласии, что почему-то чувствовалось, как будто у них есть какая-то важная тайна, которую обе они берегут и обе за нее боятся.

Образ жизни их был самый тихий и безупречный. Овладев безраздельно садиком при даче, они им одним и довольствовались и не показывались ни на музыке, ни в парке. Об их общественном положении я не знал ровно ничего. Прислуга доносила только, что старшая из дам называется «баронесса» и что обе они так горды, что никогда не отвечают на поклоны и не знают ни одного слова по-русски.

Только один раз тишина, царствовавшая в их доме, была нарушена посещением трех лиц, из которых первое можно было принять за какое-то явление.

Я первый подстерег, как оно нас осветило, – именно я не могу подобрать другого слова, как *осветило*.

Хлопнула входная серая калитка, и в ней показалось легкое, грациозное и все сияющее светлое создание – молодая белокурая девушка с красивым саквояжем в одной руке и с зонтиком в другой. Платице на ней было легкое, из бледно-голубого ситца, а на голове простая соломенная шляпа с коричневою лентою и с широкими полями, отенявшими ее прелестное полудетское лицо.

Навстречу ей из окна нижнего этажа раздался возглас:

– Aurora!

Она отвечала:

– Tante!

И вдруг и баронесса, и ее дочь выбежали к Авроре, а Аврора бросилась к ним, и, как говорится, «не было конца поцелуям».

Через час Аврора и младшая из дам вышли в сад. Они долго щебетали и целовались, – потом сели. Аврора теперь была без шляпы, но в очень ловко сшитом платице, а на голове имела какой-то розовый колпачок, придававший ее легкой и грациозной фигуре что-то фригийское.

Аврора ласкала даму по голове и несколько раз принималась целовать ее руки и называла ее Лина.

Вышедшая к ним в сад баронесса обнимала и целовала их обеих.

Из их разговора я понял, что Аврора и Лина – кузины.

Вечером в этот же день к ним приехали два почтенные гостя: пастор и вице-адмирал, которого называли «Opkel».² Они оставались недолго и уехали. А вслед за ними, в сумерки, пронеслась опять со своим саквояжем Аврора, и ее больше не стало.

Мои девушки узнали, что старая баронесса проводила «эту зажигу» на пароход, и при этом они также расследовали, что «у немок были крестины», и именно окрестили того малютку, который выезжал в сад в своей детской колясочке.

Мне до этого не было никакого дела, и я надеялся, что и позже это никогда меня нимало не коснется; но вышло, что я ошибался.

Завтра и послезавтра и в целый ряд последующих дней у нас все шло по-прежнему: все наслаждались прекрасными днями погожего лета, два старшие мальчика пели под моими окнами «Anku dranku dri-li-dru», а окрещенный пеленашка спал в своей коляске, как вдруг совершенно неожиданно вся эта тишь была прервана и возмущена набежавшею с моря страшною бурей.

² Дядя (нем.).

Глава третья

В один прекрасный день, перед вечером, когда удлинялись тени деревьев и вся дачная публика выбиралась на promenade,³ – в калитке нашего серого дома показался молодой и очень красивый морской офицер. Значительно растрепанный и перепачканный, он вошел порывисто и спешною походкою направился прямо в помещение, занимаемое немками, где по этому поводу сейчас же обнаружилось некоторое двусмысленное волнение.

Прежде молодая немка прокричала:

– Er ist gekommen... ah!⁴

А потом старшая повторила:

– Ah! Er ist gekommen!⁵

И вдруг обе суетливо забежали, чего никогда до сих пор не делали.

При открытых окнах у меня вверху и у них внизу, на несчастье, все было слышно из одного помещения в другое. Ночами при общей тишине даже бывало слышно, как пеленашка иногда плачет и как мать его берет и баюкает.

И теперь мне показалось, будто тоже что-то происходило около этого пеленашки. Мне казалось так потому, что вслед за возгласами «Er ist gekommen!» старшая немка с буклями вылетела в сад с пеленашкою на руках и, прижимая к себе дитя, тревожно, острым взглядом смотрела в окна своего покинутого жилища, где теперь растрепанный моряк остался вдвоем с ее дочерью.

Я сообразил, что, вероятно, пеленашка составляет неожиданный сюрприз для гостя, находящегося в каких-нибудь особенных отношениях к матери и дочери, живущим со мною в соседстве. И вскоре мои подозрения еще увеличились.

Через минуту я увидел, как мать вывела в садик старших мальчиков и, оставив их бабушке, сказала каждому по наставлению, из которого я уловил только:

– Still, Papa,⁶ – и сама убежала.

Бабушка охватила внучков руками, как наседка покрывает цыплят крыльями, и тоже внушала:

– Still, Friede, Papa: er ist gekommen! Still, Wolia, Papa!⁷

Дети слушались бабушку и робко к ней жались. Каждый из них одною ручонкою обхватывал ее руку, а в другой держал по новой игрушке.

«Что же это может значить? – думалось мне. – Неужто и оба старшие мальчики тоже составляют секрет для гостя, точно так же, как и маленький пеленашка?»

Насчет пеленашки у меня уже утвердилось такое понятие, что «рыцарь ездил в Палестину», а в это время старая баронесса плохо смотрела за своей дочкой, и явился пеленашка, которого теперь прячут при возвращении супруга, чтобы его не сразу поразило ужасное открытие.

Какая у них, должно быть, теперь происходит тяжелая сцена! Бедный мореходец; бедная белокурая дама; бедная баронесса; бедный и ты, маленький пеленашка!

Чтобы быть дальше от горя, которому ничем нельзя пособить, я взял в руки трость, надел шляпу и ушел к морю.

³ Гулянье (франц.).

⁴ Он пришел... ах! (нем.).

⁵ Ах! Он пришел! (нем.).

⁶ Тише, папа (нем.).

⁷ Тише, Фриде, папа: он пришел! Тише, Воля, папа! (нем.).

Но все, что я сообразил насчет причины беспокойства в нижнем семействе, было не совсем так, как я думал. Дело было гораздо сложнее и носило отчасти политический или национальный характер.

Глава четвертая

Когда я возвращался домой при сгустившихся сумерках, меня еще за воротами дома встретила моя служанка и в большом волнении рассказала, что приехавший муж молодой немки – «страшный варвар и ужасно бунтует».

– Когда вы ушли, – говорит, – он начал грозно ходить по всем комнатам и кричать разные русские слова, которых повторить невозможно.

– Как, – говорю, – русские?

– Да так, разные слова, самые обидные, и все по-русски, а потом стал швырять вещи и стулья и начал кричать: «вон, вон из дома – вы мне не по ндраву!» и, наконец, прибил и жену и баронессу и, выгнав их вон из квартиры, выкинул им в окна подушки, и одеяла, и детскую колыбель, а сам с старшими мальчиками заперся и плачет над ними.

– О чем же плачет?

– Не знаю, верно пьян напился.

– Почему же вы так обстоятельно все это знаете?

– Шум был, княгиней его пугали, а он и на нее не обращает внимания, а от нас все слышно: и русские слова, и как он их пихнул за дверь, и подушки выкинул... Я говорила хозяйке, чтобы она послала за полицией, но они, и мать и дочь, говорят: «не надо», говорят: «у него это пройдет», а мне, разумеется, – не мое дело.

– Конечно, не ваше дело.

– Да я только перепугалась, что убьет он их, и за наших детей боялась, чтобы они русских слов не слыхали. А вас дома нет; я давно смотрела вас, чтобы вы скорее шли, потому что обе дамы с пеленашкой сидят в моей комнате.

– Зачем же они у вас?

– Вы, пожалуйста, не сердитесь: вы видите, на дворе туман, как же можно оставаться на ночь в саду с грудным ребенком! Вы извините, я не могла.

– Нечего, – говорю, – и извиняться: вы прекрасно сделали, что их приютили.

– Они уже дитя уложили, а сами уселись перед лампочкой и достали вязанье.

«Что за странность! – думаю себе, – этих бедных дам только что вытолкали вон из их собственного жилища, а они, как будто ничего с ними и не случилось, присели в чужой квартире и сейчас за вязанье».

Я не выдержал и высказал это мое удивление девушке, а та отвечает:

– Да, уж и не говорите: удивительные! Этакое слова выслушать, и будто как ничего... Наша бы русская крышу с дома скопала.

– Ну, словб – говорю, – еще ничего: они наших русских слов не знают.

– Понимают все.

– Вы почему знаете?

– А как же я с ними говорила! Ведь по-русски.

Я еще подивился. Такие были твердые немецкие дамы, что ни на одно русское слово не отзывались, а тут вдруг низошел на них дар нашего языка, и они заговорили.

«Так, – думаю себе, – мы преодолеем и все другие их вредные дикости и упорства и доведем их до той полноты, что они у нас уверуют и в чох, и в сон, и в птичий грай, а теперь пока надо хорошенько приютить изгнанниц».

Глава пятая

Это и было исполнено. Баронесса и ее дочь с грудным младенцем ночевали на диванах в моей гостиной, а я тихонько прошел к себе в спальню через кухню. В начале ночи пеленашка немножко попищал за тонкой стеною, но мать и бабушка следили за его поведением и тотчас же его успокоивали. Гораздо больше беспокойства причинял мне его отец, который все ходил и метался внизу по своей квартире и хлопал окнами, то открывая их, то опять закрывая.

Утром, когда я встал, немок в моей квартире уже не было: они ушли; но зато их обидчик ожидал меня в саду, да еще вместе с отцом Федором.

Отец Федор всем в Ревеле был известен как самый добродетельный человек и как трус: он и сам себя всегда рекомендовал человеком робким.

– Я робок, – говорил он. – Я боюсь, всего боюсь и всех боюсь. Детей крестить – и тех боюсь: держать их страшно; и покойников боюсь: на них глядеть страшно.

Отец Федор сам рассказывал, что он «первый был прислан сюда бороться с немцами» и «очень бы рад был их всех побороть, но не мог, потому что он *всех их боится*».

Робость этого первого виденного мною «борца» была замечательная, и ее нельзя и не нужно чем-нибудь приукрашивать; да это и неудобно, потому что на свете еще живы коллеги отца Федора и множество частных людей, которые хорошо его знали.

Он боялся всего на свете: неодушевленной природы, всех людей и всех животных и даже насекомых. И сам он, как выше замечено, над этою своею слабостью смеялся и шутил, но побороть ее в себе не мог.

Он не мог войти без провожатого в темную комнату, хотя бы она была ему как нельзя более известна; убегал из-за стола, если падала соль; замирал, если в комнате появлялись три свечи; обходил далеко кругом каждую корову, потому что она «может боднуть», обходил лошадь, потому что она «может брыкнуть»; обходил даже и овцу и свинью и рассказывал, что все-таки с ним был раз такой случай, что свинья остановилась перед ним и завизжала. По счастью, он убежал, но после все-таки у него долго сердце билось. Собак, кошек, крыс и мышей он боялся еще более. Он был уверен, что один раз даже мышь укусила его сонного за пятку. О собаках уже и говорить нечего, а кошки представляли в его глазах двойную опасность: во-первых, они царапаются, а потом они могут переесть сонному горло.

И этот-то великий трус расхаживал по саду и разговаривал самым приятельским образом с драчуном, причем один только драчун обнаруживал некоторое внутреннее волнение и обрывал губами листочки с ветки сирени, которую держал в руке, а отец Федор даже похотывал и, приседая на ходу, хлопал себя длинными руками по коленам.

При одном из оборотов он увидел меня у окна и, совсем развеселившись, закричал:

– Пожалуйста сюда к нам поскорее! Пожалуйста! Мы вас ждем.

Драчун был человек в цветущей поре: он по виду мог иметь немного за тридцать. Он был с открытым, довольно приятным и даже, можно сказать, привлекательным русским лицом, выражавшим присутствие здравого смысла, добродушной доверчивости и большой терпеливости. По общему выражению больших и в своем роде прекрасных темно-карих глаз и всей его физиономии и движениям головы он напоминал бычка – молодого, смирного и добронравного заводского бычка. Он все потихоньку отматывал головою в одну сторону и, очевидно, мог так мотать долго, но потом мог и боднуть, не разбирая, во что попадет и во что ему самому это обойдется. Теперь в больших карих глазах у бычка как раз светилось отражение большой, свежеперенесенной и тяжелой обиды, после которой он только боднул и еще не совсем успокоился. Довольно полное лицо его то бледнело, то покрывалось краскою гнева, внезапно набегавшею и разливавшееся под загорелую и огрубевшую от морского ветра кожу.

Все это отчетливо и ясно бросилось мне в глаза, когда я вошел в сад, где меня отец Федор тотчас же схватил за руки и, весело смеясь, закричал:

– Здравствуйте! здравствуйте!.. Пожалуйте скорее сюда, сюда... Вот вам рекомендую – Иван Никитич Сипачев.⁸ Отличный, образованный человек, говорит на трех языках, и мой духовный сын, и музыкант, и певец, и все что хотите... Ха-ха-ха!.. Любите меня – полюбите и его... Ха-ха-ха!.. Вы думаете, что Иван Никитич буян и разбойник?.. Ха-ха-ха! Он смирный, как самый смирный теленок.

Мне Иван Никитич казался бычком, а отец Федор его почитал теленочком: разница выходила небольшая, и если он даже отцу Федору кажется не страшным, то уже, верно, он в самом деле не страшен.

А отец Федор продолжает свою рекомендацию и говорит:

– Ивану Никитичу с вами надо объясниться... Это не он придумал, а я, я. Вы меня за это простите. Он растерялся и придумывал бог знает что... Хотел на себя руки наложить, а я его удержал. Я говорю: «Этот человек мне знаком, пойдите к нему и объяснитесь...» Он – «Ни за что! – говорит. – Я так себя вел». А я говорю: «Что же теперь делать! Надо все объяснить... Объяснить с русской точки зрения, а не стреляться и не сваливать себя в гроб собственной рукою». Иван Никитич прибегает сегодня чем свет, будит меня и что говорит... Вы только подумайте, вы подумайте, вы вспомните, что вы мне говорили! – обратился он к офицеру. – Ай-ай-ай! Ай, нехорошо!.. Ай, нехорошо!.. А я утешать словами никого не умею... Что, братцы, делать – не умею. Отец Михаил или отец Константин – те умеют, а я не умею. Я только сказал: «Отложи попечение! Все это еще, может быть, обомнется». Так это или нет?

Офицер тихо качнул головой и сказал:

– Так!

– Да, я так его от себя и не пустил, и вот так его сюда и привел, – и пусть он сам все расскажет.

– Зачем же это? – говорю.

– Нет, отчего же? Ему легче будет, чтобы о нем не думали дурно. Он сам желает...

В это время и сам моряк отозвался.

– Да, – говорит, – извините: я себя поставил в такое недостойное положение, что мне нельзя оставить без объяснения то, что я наделал. Мне это необходимо... Потребность души... потребность души...

– Вы теперь очень взволнованы, а после можете пожалеть.

– Нет, я не буду жалеть. Я действительно взволнован, но жалеть не буду.

– Вот видите! – поддержал отец Федор. – Пусть он все говорит, – ему будет легче.

– Да, мне будет легче, – подсказал офицер и бросил на скамейку свою фуражку. – Я не хочу, чтобы обо мне думали, что я негодяй и буян, и оскорбляю женщин. Довольно того, что это было и что причины этого я столько лет таил, снося в моем сердце; но тут я больше не выдержал, я не мог выдержать – прорвало. Подлю, но надо знать, за что. Вы должны выслушать мою повесть.

Отец Федор сбрил мою руку с рукой офицера и подсказал:

– Да, голубчики. – это повесть.

Что же мне оставалось делать? Я, разумеется, согласился слушать оправдание о том, за что были выгнаны воспитанные и милые дамы, из которых одна была жена рассказчика, а другая – ее мать, самая внушающая почтение старушка.

⁸ Имя, отчество и фамилия этого с природы воспроизводимого мною лица в действительности были иные. Имена лиц, которые будут выведены далее, я все заменяю *вымышленными* названиями в соответственном роде. (Прим. Лескова.).

Глава шестая

Бычок махнул головою в сторону и начал:

– Вы и всякий имеет полнейшее право презирать меня после того, что я наделал, и если бы я был на вашем месте, а в моей сегодняшней роли подвизался другой, то я, может быть, даже не стал бы с ним говорить. Что тут уж и рассказывать! Человек поступил совсем как мерзавец, но поверьте... (у него задрожало все лицо и грудь) поверьте, я совсем не мерзавец, и я не был пьян. Да, я моряк, но я вина не люблю и никогда не пью вина.

– Не пьет, никогда не пьет, – поддержал отец Федор.

Священник ручается. Надо верить. А он, оказывается, так наблюдателен, что как будто читает на лице все отражения мыслей.

– Мне это стыдно, – говорит он, – стыдно взрослому человеку уверять, что я совсем не пью вина. Ведь я совершеннолетний мужчина и моряк, а не институтка. Отчего бы я и не смел пить вино? Но я его действительно не пью, потому что оно мне не нравится, мне все вина противны. И это, может быть, тем хуже, что я был совершенно трезв, когда обидел и выгнал мою жену и тещу... Да, я был трезв точно так же, как теперь, когда я не знаю, как мне вас благодарить за то, что вы дали им у себя приют, иначе они должны бы были ночевать с детьми в парке или в гостинице, и теперь об этом моем тиранстве знал бы уже целый город. Здесь ведь кишит сплетня. Подняли бы такой вой... «Русский офицер как обращается с своею женою! Мужик, невежа. Женился на баронессе». И все это правда: я русский офицер, и действительно, если вам угодно, по образованию я мужик в сравнении с моею женою, особенно с ее матерью; но ведь они обе знали, что я русский человек, воспитывался в морском училище на казенный счет, но по-французски и по-немецки я, однако, говорю и благодаря родительским заботам кое-что знаю, но над общим уровнем я, конечно, не возвышаюсь и имею свои привязанности. Я каким себя предъявлял им, таков я и есть, так и живу. Я ни в чем их не обманул, ни жену, ни всеми уважаемую мою тещу, между тем как они сделали из моей семьи мой позор и терзание.

Всякий, услышав то, что я говорю, вероятно, подумал бы, что, конечно, моя жена мне не верна, что она изменяет своим супружеским обетам; но это неправда. Моя жена прелестная, добрая женщина и относится ко всем своим семейным обязанностям чрезвычайно добросовестно и строго. В этом отношении я счастливей великого множества женатых смертных; но у меня есть горе хуже этого, большее.

– Да, гораздо хуже, – вздохнул отец Федор. – Больнее.

Я недоумевал: что же может быть «хуже этого и больнее»?

А мореход продолжал:

– Измена тяжела, но ее можно простить. Трудно, но можно. Женщины же нам прощают наши измены, отчего же и мы им простить не можем? Я знаю, что на этот счет говорят, но ведь это предрассудок. «Чужое дитя!» Ну и что же такое? Ну и покорми чужое дитя. Ведь это не грех, а мы ведь считаем, что мы умнее и справедливее женщин и во всех отношениях их совершеннее. Покорми! И если женщина увлеклась и потом сожалеет о своем увлечении, прости ее и не обличай. Она может перемениться и исправиться. Тоже и они ведь недаром живут на свете и приобретают опыт. Я таких убеждений, и я чувствую, что я все это мог бы исполнить, но этого в моей жизни нет. Этим я не наказан; но то, что я переносу и что уже два раза перенес, да, вероятно, и третий перенесу – этому нет сравнения, потому что это уязвляет меня в самый корень. Это поражает меня до недр моего духа; это убивало моего отца и мать, отторгало меня от самых священных уз с моею родней, с моим народом. Это, наконец, делает меня смешным и жалким шутком, которому тычут в нос шиши. Однако я и это сносил, но когда это повторяется без конца – этого снести невозможно.

– Извините, – говорю, – я не понимаю, в чем дело.

– Я поясню. У меня был отец старик, и уважаемый старик. Он жил в своем имении в Калужской губернии, и матушка тоже достойная всякого уважения: они жили мирно, покойно, и их уважали. Я у них один-единственный сын. Есть сестра, но она далеко, замужем за доктором-немцем, на Амуре. У нее уже другая фамилия, а мужского поколения только один и есть – это я. Дядюшка в Москве, отцов брат, старый холостяк, весь век все славянской археологией занимался и забыл жениться. И отец мой и мать, разумеется, были насквозь русские люди, а о московском дяде уж и говорить нечего. Он с Киреевскими, с Аксаковыми – со всеми знаком. Словом, всё самые настоящие родовитые и истинно русские люди, а из меня вышла какая-то «игра природы». Моя жизнь – это какой-то глупый роман. Но это говорить надо по пунктам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.